

Из писем Андрея Платонова

Я родился в слободе Ямской, при самом Воронеже. Уже десять лет тому назад Ямская чуть отличалась от деревни. Деревню же я до слез любил, не видя ее до 12 лет. В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много мужичков на Задонской большой дороге. Колокол «Чугунной» церкви был музыкой слободы, его умилительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я. А по праздникам (мало-мальски большим) устраивались свирепые драки Ямской слободы с Чижевской или Троицкой (тоже пригородные слободы). Бились до смерти, до буйного экстаза, только орали: «Дай духу!». Это значит, кому-нибудь дали под сердце, в печенку, и он трепегал, белый и умирающий, и вокруг него расступались, чтобы дать ход ветру и прохладе. И опять шла драка, жмокающее месиво мяса...

...Потом наступило для меня время ученья — отдали меня в церковно-приходскую школу. Была там учительница Аполлинария Николаевна, я ее никогда не забуду, потому что я через нее узнал, что есть пропетая сердцем сказка про Человека, родимого «всякому дыханию», траве и зверю, а не властвующего бога, чуждого буйной зеленой земле, отделенной от неба бесконечностью... Потом я учился в городском училище. Потом началась работа. Работал я во многих местах, у многих хозяев. У нас семья была одно время в 10 человек, а я старший сын — один работник, кроме отца... Отец же, слесарь, не мог кормить такую орду...

Я забыл сказать, что, кроме поля, деревни, матери и колокольного звона, я любил еще (и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, машину, ноющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, что все делается, а не само родится...

Из писем Г. З. Литвину-Молотову (1922).

...Я жил и томился, потому что жизнь сразу превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности. До революции я был мальчиком, а после нее уже некогда быть юношей, некогда расти, надо сразу нахмуриться и биться... Недоучившись в технической школе, я спешно был посажен на паровоз помогать машинисту. Фраза о том, что революция — паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе. Были во мне тогда и другие — такие же слова (из детского чтения):

В селе за рекою Потух огонек...

Эти стихи, Мария, сразу объяснили мне уют, скромность и теплоту моей родины — и от них я больше любил уже любимое. Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции.

Чтобы что-нибудь полюбить, я всегда должен сначала найти какой-то темный путь для сердца, к влекущему меня явлению, а мысль шла уже вслед.

Из письма к жене М. А. Платоновой (1922).

Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечные пространства, далекие темные деревни и одни звезды над головой в мутной смертельной мгле. Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все далеко. Если взглядишься в звезду, ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки — так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности — это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание. Мне кажется, что я лечу, и только светится недостижимое дно колодца и стены пропасти не движутся от полета. От вдоха в таком просторе разрывается сердце, от взгляда в провал между звезд становишься бессмертным.

А кругом поле, овраги, волки и деревни. И все невыразимо, и можно вытерпеть всю вечность с великой невероятной любовью в сердце...

Сердце навсегда может быть поражено покосившейся избенкой на краю деревни, и ты не забудешь, не разлюбишь ее никогда, каким бы ты мудрым и бессмертным ни стал, куда бы ни ушел!..

Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого приснившийся тайный образ во сне, у третьего весенний тоскующий ветер.

Я знал человека, который заглушал свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем.

Он любил невозможное и неизъяснимое, что всегда рвется в мир и не может никогда родиться...

...Сейчас я вспоминаю о скучной новохоперской степи, эти воспоминания во мне связаны с тоской по матери — в тот год я первый раз надолго покинул ее.

Июль 1919 года был жарок и тревожен. Я не чувствовал безопасности в маленьких домиках города Новохоперска, боялся уединения в своей комнате и сидел больше во дворе...

...Иногда я ходил в клуб рабочей молодежи — комсомол в Новохоперске еще не образовался, — мне странно было читать в доме, из окон которого виднелась душная бедная степь, призывы к завоеванию земного шара, к субботникам и изображения Красной Армии в полной славе.

Я уже два раза писал в губернскую газету, которая командировала меня сюда, что в Новохоперске положение неважное. Но редактор был одновременно комендантом укрепленного района, и от занятости он не отвечал мне. Он мне в напутствие цитировал на память Глеба Успенского, советуя хорошенько провариться на самом дне, на огневой линии пролетарской революции и помочь там неграмотным преданным людям, которых губит не белая сила, а собственное невежество...

...А красногвардейцы воевали просто: бились насмерть с казаками с одним патроном в винтовке и двумя жилами в теле; один хутор — Мравые Лохани — казаки заняли прочно, и главный хутор был в семи верстах от города; хутор был окружен вязкими болотами и мочажинами — тогда отряд учителя Нехворайко обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули в трясилах, и в одну ночь вышиб казаков в болото, где они все и остались, потому что их лошади были босые...

Я понимал, что белых вышибить легко: казаки приехати в Россию, как в колонию — награть и поскорее уехать домой. Это хорошо знали и все крестьяне. От этого же в партизанах была крепкая уверенность в победе — они чувствовали во враге не мужественного противника, а случайного и трусливого вора..

...Я люблю больше мудрость, чем философию, и больше знание, чем науку. Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть. Невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души... Невозможное — граница нашего мира с другим.

Из письма к М. А. Платоновой (осень 1922).

Я уверен, что приход пролетарского искусства будет безобразен. Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас.

Но не бойтесь, мы очистимся; мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем по грязи. В этом наш смысл. Из нашего уродства вырастает душа мира..

Мы идем снизу, помогите нам верхние...

Из письма Г. З. Литвину-Молспову (1922).

...С утра, как приехал, до вечера познакомился с тамбовским начальством. Был на конференции специалистов, а вечером на сессии Губисполкома. Обстановка для работ кошмарная. Склока и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи. Меня тут уже ждали и великолепно знают и начинают немножко ковырять. (Получает-де «огромную» ставку, московская «знаменитость»!) На это один местный коммунист заявил, что Советская власть ничего не пожалеет для хорошей головы...

Я не преувеличиваю. Те, кто меня здесь поддерживает и знает, собираются уезжать из Тамбова.. Мелиоративный штат распущен, есть форменные кретины и доносчики. Хорошие специалисты беспомощны и задержаны. От меня ждут чудес!

Попробую поставить работу на здоровые ясные основания, поведу все каменной рукой и без всякой пощады.

Возможно, что меня слопают... Город живет старушечьей жизнью, шепчется, не-приветлив и т. д.

...Работать (по мелиорации) почти невозможно. Тысячи препятствий самого нелепого характера. Не знаю, что у меня выйдет...

В газете сидят чиновники. Ничего не понимают в литературе. Но постараюсь к ним подобраться, буду писать специальные статьи: стихи и рассказы они не признают...

Я уехал, и как бы захлопнулась за мной тяжелая дверь... Как сон прошла совместная жизнь, или я сейчас уснул и мой кошмар — Тамбов... Видишь, как трудно мне. А как тебе — не вижу и не слышу. Думаю о том, что ты сейчас там делаешь с Тоткой. Как он? Мне стало как-то все чуждым, далеким и ненужным. Только ты живешь во мне — как причина моей тоски, как живое мучение и недостижимое утешение...

Кончаю, меня ждет работа о волгодонском канале Петра. Очень мало исторического материала, опять придется лечь на свою «музу»: она одна еще мне не изменяет.

...Полтора ста страниц насиловал я свою «музу» в «Эфиртьюм тракте». Пока во мне сердце, мозг и эта темная воля творчества — «муза» мне не изменит. С ней мы действительно — одно. Она — это мой пол в душе. Пиши, пожалуйста, твои письма, это настоящая ценность — ведь это голос твой и моего Тотки...

...«Епифанские шлюзы» написаны, не веришь? Но негде напечатать, т. к. на службе печатать постороннюю работу теперь не разрешают... Петр казнит строителя шлюзов Перри в пыточной башне в странных условиях. Палач — гомосексуалист. Тебе это не понравится. Но так нужно.

Нравятся тебе такие стихи:

Любовь души, брошенной и страстной,
Залог души, любимой божеством...

Спутал, забыл. Очень старо, но хорошо. Это писал Перри, когда был женихом Мери Карборунд. Потом она стала женой другого. Потом прислала в Епифань из Нью-Кестля неизвестное письмо, его положил за икону к паукам епифанский воевода, а Перри умер в Москве. Шлюзы не действовали. Народ не шел на работы или бежал в скиты и жил ветхопещерником в глухих местах. Вот тебе «Епифанские шлюзы». Я написал их в необычном стиле, отчасти славянской вязью — тягучим слогом. Это может многим не понравиться. Мне тоже не нравится — как-то вышло...

Я такую пропасть пишу, что у меня сейчас трясется рука. Я хотел бы отдохнуть с тобой хоть недельку, хоть три дня. Денег нет, а то бы я приехал нелегально в Москву на день-два...

А все-таки постараюсь пробиться в Москву на день. Очень я соскучился, до форменных кошмаров...

...Любовь — мера одаренности жизнью людей, но она, вопреки всему, в очень малой степени сексуальность. Любовь страшно пронизательна, и любящие насквозь видят друг друга со всеми пороками и не жалуют один другого обожанием...

Я вспомнил сейчас стихи, которые спутал в прошлом письме:

...Возможность страсти, горестной и трудной, —
Залог души, любимой божеством...

Это из «Епифанских шлюзов». Думаю теперь засесть за небольшую автобиографическую повесть (детство, 5—12 лет, примерно). Может быть, напишу небольшой фантастический рассказ на тему «как началась и когда кончится история». Название, конечно, будет иное.

Моя жизнь застыла, я только думаю, курю и пишу...

...Письма к тебе — для меня большая отрада. Действительно, они заменяют беседу. Жду твоих писем...

Тотику — поцелуй, объятие и катание верхом в далекой перспективе. Ну, прощай, моя далекая невеста, и береги нашего первого и единственного сына.

...Окруженный недобрыми людьми (но работая среди них, ты понимаешь меня!), я одичал и наслаждаюсь одними твоими отвлеченными мыслями. Поездка моя по уездам была тяжела.. Жизнь тяжелее, чем можно выдумать, теплая крошка моя. Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и проза. Но мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье. Но все-таки здесь грустная жизнь, тут стыдно даже маленькое счастье... Оставим это...

...Любимой женщине судьбою я поручен
И буду век с ней сердцем не разлучен...

...Какая жестокая и бессмысленная судьба — на неопределенно долгое время оторвать меня от любимой. Утешение мое, что я живу и для ребенка и, кажется, способен пережить ради вас самую свирепую муку...

Я окончательно и скоро навсегда уезжаю из Тамбова...

...Здесь дошло до того, что мне делают прямые угрозы. Я не люблю тебе об этом писать и пишу коротко. У нас с тобой есть более важные вещи, чем тамбовские дела, о которых не стоит говорить. Но все же скажу, что служить здесь никак нельзя. Правда на моей стороне, но я один, а моих противников — легион, и все они меж собой кумовья. (Тамбов — гоголевская провинция.) И это чепуха, но я просто не хочу попусту тратить силы.

Из писем к М. Платоновой (1926—1927).